



Искандер Арысов

Голубь войны

Искандер Арысов

Голубь войны

«Автор»

2026

Арысов И.

Голубь войны / И. Арысов — «Автор», 2026

Они построили Рай. Вторая Земля, созданная руками беженцев от собственной глупости, стала идеальной копией праматери — с парками, фонтанами, музыкой Шуберта и прививкой от ненависти. Здесь не было войн, преступлений или техногенных катастроф. Только наука, искусство и высокая нравственность. Но даже в раю находится место скуке. Когда жители планеты делятся на «жаворонков», «сов» и «голубей» — большинство, чей хронотип совпадает с социальным временем, — начинается игрушечная борьба, похожая на детскую возню в песочнице. Однако третья партия, «голуби», решает навести порядок по-настоящему. Их методы изысканны и беспощадны. Они переписывают законы, ломают пальцы музыкантам и отключают стабилизаторы планетного ядра. Роман — трагическая притча о том, как большинство, уверенное в своей правоте, уничтожает всё, что не вписывается в его расписание. И о том, что настоящая жизнь рождается только там, где есть место и свету, и тени.

© Арысов И., 2026

© Автор, 2026

Искандер Арысов

Голубь войны

Пролог. Плацента перед исходом

«Эволюционно это выгодно. Если бы все люди были совами, кто бы охранял племя ночью? Если бы все были жаворонками, кто бы работал в вечернюю смену? Природа создала гибкую систему, где большинство людей способны адаптироваться к разным условиям труда и жизни... Голуби — это около 50–60% населения. То есть больше половины...»

(Стенограмма лекции врача-невролога Марины Сергеевны Кольцовой, прочитанной в московской клинике «Будь Здоров» на Суцеском Валу за три года до Великого Исхода. Эта запись, случайно сохранившаяся в обломках земных архивов, будет переправлена на Сестрёнку вместе с первой партией колонистов. Её будут изучать, цитировать, забывать и вспоминать — до тех пор, пока последняя копия не сгорит в огне гражданской войны.)

1. Час перед полуночью

Москва, Суцеский Вал, три часа сорок семь минут пополудни. Снаружи — вечный кирпичный смог, смешанный с кислотным дождём, который шёл уже четвёртые сутки подряд, разъедая древний гранит и современный пластик с одинаковой безжалостностью. За окнами клиники «Будь Здоров» — название, звучавшее горькой иронией, потому что здоровым не был никто, — мелькали силуэты людей в защитных костюмах. Они бежали, пригибаясь, потому что с неба падали не только капли, но и осколки солнечных панелей, сорванных ураганом предыдущей ночью. Экран на стене клиники транслировал новости: очередная волна наводнения затопила Нидерланды, радиоактивное облако двигалось к Уралу, и Глобальный Совет в Женеве проводил экстренное заседание, которое длилось уже семнадцатый час без перерыва.

Марина Сергеевна Кольцова, сорок семь лет, невролог, специалист по головным и лице-вым болям, тревожным расстройствам, а в последнее время — и по циркадным ритмам, сидела в своём кабинете и смотрела на пустой стул перед собой. Пациентка не пришла. Она умерла утром, не выдержав очередного приступа панической атаки, вызванного не столько психологией, сколько нарушением естественного цикла сна и бодрствования из-за постоянных отключений энергии. Врачи называли это «хронофобией» — страхом перед временем, которое больше не подчинялось суточному ритму планеты, потому что сама планета сбилась с оси.

Марина сняла очки, потёрла переносицу и взяла в руки планшет, на котором был открыт её собственный текст — лекция, которую она готовила для семинара по биоритмам. Она читала его в сотый раз и всё равно не могла поверить в простоту цифр: пятнадцать-двадцать процентов жаворонков, пятнадцать-двадцать пять процентов сов, и пятьдесят-шестьдесят процентов — голуби. Промежуточный хронотип, аритмики, люди без предпочтений. Те, кто может проснуться в семь и лечь в полночь без особых страданий. Те, кто составляет большинство. Те, на ком держится мир.

Но мир больше не держался.

Она откинулась на спинку кресла и закрыла глаза. За окнами клиники послышался далёкий гул — это разбился ещё один дрон, перевозивший гуманитарную помощь в соседний квартал. Марина не вздрогнула. Она привыкла. За три года работы в этой клинике она привыкла ко всему — к крикам, к слезам, к тишине, которая наступала после смерти пациента. Она привыкла к тому, что время больше не значит ничего, кроме счёта до очередного катаклизма.

— Марина Сергеевна, — раздался голос из динамика. Это была её ассистентка, Лена, молодая девушка с вечно испуганными глазами. — Вас вызывает Совет. Срочно. По зашифрованному каналу.

Марина открыла глаза. Совет — это не просто Женевский комитет. Это были те семеро стариков, которые уже не могли спать вообще, потому что их хронотипы разрушились от ради-

ации и постоянного стресса. Они были бессонными — ни жаворонками, ни совами, ни голубями. Они были за гранью всех классификаций. И они принимали решения о судьбе человечества.

Она включила голографический экран. Перед ней появилось лицо одного из советников — седого мужчины с запавшими щеками и красными, как у кролика, глазами. Его звали Аркадий Львович, и он был её наставником, когда она писала диссертацию по нейробиологии.

— Марина, — сказал он без приветствия. Голос его был сухим, как перекалённый песок. — Мы приняли решение. Проект «Ковчег» запускается через четыре месяца. Ты полетишь с первой группой. Твоя задача — сохранить все данные по циркадным ритмам и хронотипам. На новой планете мы начнём всё сначала. Мы создадим идеальное общество, где не будет места хаосу. Ты будешь курировать биоритмы колонистов.

Марина почувствовала, как сердце забилося быстрее. Она знала о «Ковчеге» — это был слух, легенда, надежда. Двенадцать огромных кораблей, каждый с колыбельными стазисами, с банками семян, с культурным фондом, с лучшими представителями человечества. Им предстояло лететь тридцать семь лет субъективного времени, чтобы найти новую Землю.

— Я не самый лучший кандидат, — сказала она. — Я всего лишь невролог.

— Ты — единственный специалист по хронотипам, который ещё жив, — ответил Аркадий Львович. — Остальные погибли в бомбардировках Лондона и Пекина. У тебя есть три месяца, чтобы подготовить материалы. Мы берём с собой всё лучшее, что создало человечество. Картины, музыку, книги, научные труды. И мы берём твои лекции. Ты расскажешь колонистам, как устроены их внутренние часы. Ты научишь их быть счастливыми.

— Счастливыми? — переспросила Марина. — Счастье не зависит от хронотипа.

— Зависит, — твёрдо сказал Аркадий. — Если человек спит в гармонии с социальным временем, он не бунтует. Он работает, он создаёт, он не воюет. Мы построим Рай, где каждый будет знать своё место и своё время. Ты поможешь нам в этом. Это приказ.

Экран погас. Марина осталась сидеть в кресле, глядя на пустой стул перед собой, на дождь за окнами, на облака смога, которые клубились над Москвой, как гигантские грибы. Она понимала, что это не предложение, а приговор. Она должна помочь создать общество, основанное на предсказуемости. Но где-то в глубине души, там, где ещё сохранилась искра старого, свободного человека, она сомневалась: а не приведёт ли эта идеальная гармония к чему-то более страшному, чем хаос, из которого они бежали?

Она снова открыла планшет и начала писать. Она дополняла свою лекцию, добавляла примеры, цитаты, размышления. Она писала: «Природа создала гибкую систему, но гибкость — это не панацея. Это лишь инструмент. И если большинство, голуби, окажутся слишком комфортными в своей середине, они могут потерять способность к крайностям, а значит, и к творчеству, и к изменению. Середина — это покой, но покой — это застой, а застой — это смерть».

Она остановилась и удалила последние слова. Не время. Не место. Её задача — быть полезной, а не пророчицей. Она сохранила текст, закрыла планшет и посмотрела в окно. Где-то там, за тучами, за дождём, за радиоактивным туманом, возможно, уже готовился к старту «Ковчег». И Марина знала, что через три месяца она окажется на борту одного из них, и что она увозит с собой не только знания, но и тайный страх, который не осмеливается озвучить.

Она тогда не знала, что через сто двадцать семь лет на планете, которую назовут Сестрёнкой, её слова, будут переписаны, перетолкованы и использованы как оружие в войне, которую она предвидела, но не могла предотвратить.

2. Семь бессонных

Глобальный Совет собирался в подземном бункере в Швейцарских Альпах. Над бункером лежала вечная мерзлота, а над мерзлотой — слой радиоактивных осадков, который делал поверхность непригодной для жизни. Семеро стариков сидели за круглым столом из полиро-

ванного гранита, и их лица были освещены мерцающим светом голограмм, на которых разворачивалась карта умирающей Земли.

Председатель Совета, Иван Петрович Корецкий, был самым старым из них. Ему было сто тридцать два года, и он помнил времена, когда Москва ещё была зелёным городом, а Чёрное море — морем, а не кислотным озером. Он был генетиком, одним из тех, кто создавал матрицы терпимости. Теперь он сидел, опираясь на трость, и его голос, когда он заговорил, звучал как скрип несмазанного механизма.

— Мы выбрали, — сказал он. — Двенадцать кораблей. Каждый — автономный мир. Мы берём по сто тысяч человек на каждый — всего миллион двести тысяч. Это лучшие из лучших. Учёные, художники, музыканты, инженеры, агрономы. Мы оставляем здесь всех остальных — тех, кто не прошёл отбор. Они умрут, но они умрут ради нашего будущего.

Никто не возражал. Все семеро знали, что это жестоко. Но они также знали, что если не взять с собой только самых здоровых, самых адаптивных, самых «голубиных» по хронотипу, то колония не выживет. Жаворонки и совы — слишком уязвимы, слишком зависимы от времени суток. А голуби — они выдержат любые графики, они подстроятся, они будут работать, когда это нужно.

— У нас есть культурный фонд, — продолжил Корецкий. — Картины, музыка, книги. Мы берём только то, что не вызывает конфликтов. Никаких религиозных текстов, никаких политических манифестов, никаких военных хроник. Только эстетика, только наука, только образование. Мы создадим общество, которое не будет знать вражды.

Аркадий Львович, тот самый наставник Марины, сидел в конце стола и слушал. Он был геофизиком, ответственным за гравитационные стабилизаторы, которые должны были удерживать новую планету в равновесии. Он понимал, что если планета окажется хотя бы чуть-чуть нестабильной, все их усилия пойдут прахом. Поэтому он вложил в конструкцию стабилизаторов всё, что знал о тектонике и вибрациях.

— Есть проблема, — сказал он, когда Корецкий закончил. — Мы не можем контролировать всё на новой планете. Гравитационные стабилизаторы — это не панацея. Если колонисты начнут использовать их как оружие или если они выйдут из строя, планета рухнет.

— Мы не дадим им использовать стабилизаторы как оружие, — ответил Корецкий. — Мы создадим конституцию, которая это запретит. Мы встроим эти запреты в их генетическую память. Они будут знать, что стабилизаторы — это священное наследие, неприкосновенное.

— Генетическая память не надёжна, — возразил Аркадий. — Мы это знаем. Даже прививка терпимости не гарантирует, что через поколения они не начнут враждовать.

— Тогда мы дадим им ещё одну прививку, — холодно сказал Корецкий. — Прививку от амбиций. Мы сделаем их счастливыми в своей середине.

В зале повисла тишина. Все семеро знали, что это означает — генетическое программирование, которое подавляет стремление к власти, к первенству, к крайностям. Они создадут общество, которое не будет знать ни героев, ни злодеев. Только спокойные, равномерные голуби.

— Это аморально, — прошептал кто-то из совета, молодой биолог из Японии.

— Это необходимо, — отрезал Корецкий. — Мы видели, что делает амбиция. Мы видели, что делает крайность. Жаворонки и совы — это источник всех войн. Голуби — это мир. Мы создадим Рай из голубей. А если кто-то нарушит этот порядок, мы дадим им инструменты, чтобы навести порядок.

Они проголосовали. Единогласно. Через три месяца корабли стартовали. И никто из них не знал, что через сто двадцать семь лет на Сестрёнке, в городе Вернадском, родится мальчик по имени Антон Белов, который станет голубем, который полюбит жаворонка, который встретит сову, который увидит, как большинство давит меньшинство, и который пойдёт против всего, что они, семь бессонных стариков, построили.

3. Прощание с Плацентой

Последние дни на Земле были похожи на затянувшуюся агонию. Когда двенадцать ковчегов поднялись в небо, оставляя за собой шлейф ионизированного газа, оставшиеся люди смотрели на них с надеждой и с отчаянием. Надеждой — потому что кто-то выживет. Отчаянием — потому что они остаются умирать.

Марина Кольцова стояла на палубе головного корабля «Надежда», вглядываясь в иллюминатор. Она видела, как Земля становится всё меньше, как синий шар превращается в точку, потом в пылинку, потом исчезает. Она сжимала в руках свой планшет с лекцией о хронотипах и думала о том, что оставляет позади. Свою клинику, своих пациентов, свою квартиру на окраине Москвы, где остались её книги, её цветы, её жизнь. Теперь всё это будет сожжено солнцем или погребено под льдами, или разорвано тектоническими плитами.

Рядом с ней стоял Аркадий Львович. Он тоже смотрел в иллюминатор, но его лицо было спокойным — слишком спокойным, чтобы быть искренним.

— Ты боишься, Марина? — спросил он.

— Да, — честно ответила она. — Я боюсь того, что мы создадим. Мы берём с собой только голубей. Мы оставляем всех крайних. А что будет через сто лет? Через двести? Голуби тоже могут превратиться в тиранов, если их слишком много.

— Тогда у нас будут другие проблемы, — усмехнулся Аркадий. — Но сейчас у нас нет выбора. Либо мы строим Рай, либо мы умираем здесь.

Она не ответила. Она повернулась к иллюминатору и увидела, как последний луч солнца отразился от её планшета. Она открыла файл с лекцией и перечитала последние строки, которые она дописала перед самым стартом:

«Эволюционно это выгодно, что большинство людей — голуби. Но выгодно ли это цивилизации? Когда большинство слишком комфортно в своей середине, оно перестаёт видеть крайности, а значит, перестаёт понимать, что такое добро и зло. Оно становится серым. А серая масса никогда не создаёт шедевров и никогда не совершает подвигов. Она только выживает. И вопрос: стоит ли выживание того, чтобы потерять душу?»

Она закрыла планшет и спрятала его в карман. Она знала, что эти слова никто не прочитает на борту — её лекция будет отредактирована цензорами, которые следят за «негативными настроениями». Но она оставила эту версию в тайном файле, с надеждой, что когда-нибудь, на новой планете, кто-то найдёт её и поймёт.

Корабль ускорился. Перегрузка вдавила её в кресло, и она потеряла сознание.

Когда она очнулась через тридцать семь лет субъективного времени (а для Земли прошло почти четыреста лет), она увидела перед собой сияющий шар новой планеты — Сестрёнки, идеальной копии Земли, только без ран. Ей было уже восемьдесят четыре года, но благодаря криосну она выглядела на сорок. Она стояла на палубе и смотрела, как первые корабли приземляются на зелёные луга, как первые колонисты выходят на свежий воздух, который пах не смогом, а цветами.

Она улыбнулась. Может быть, всё будет хорошо.

Она не знала, что через сто двадцать семь лет её лекцию, сохранённую в Золотом Фонде, переслушает архивариус Антон Белов. И что именно её слова — о голубях как о большинстве — станут тем зерном, из которого вырастет война.

4. Птица в пробирке

Одним из ключевых решений Совета было создание «Банка Хронотипов» — генетического хранилища, где были заморожены образцы всех трёх хронотипов, чтобы в случае необходимости можно было корректировать популяцию. Но Марина, которая курировала этот проект, настояла на том, чтобы в банк были включены и «чистые» экземпляры — не только голуби, но и жаворонки, и совы. «На всякий случай», — сказала она. Совет нехотя согласился.

Она сама выбрала образцы. Жаворонки — из утренних гениев, поэтов, которые писали лучшие стихи до восхода. Совы — из ночных композиторов, тех, кто слышал музыку звёзд. Голуби — из тех, кто мог работать круглосуточно, но не создал ничего, что пережило бы века. Она поместила их в отдельные контейнеры и подписала: «Наследие крайностей. Использовать только в случае культурного застоя».

Через сто лет после основания Сестрѐнки этот банк забыли. О нём не упоминали в учебниках, потому что Совет посчитал, что «крайности» — это опасность. Контейнеры с жаворонками и совами были задвинуты в самый дальний угол Архива, завалены голограммами и пылью.

И только Антон Белов, когда работал в Архиве, случайно наткнулся на них. Он не знал, что там хранится. Он подумал, что это старые медицинские образцы, и не стал их открывать. Но где-то в глубине его подсознания, возможно, уже звучал голос Марины, который шептал: «Не забывай крайности. Без них нет жизни».

Он не забыл. Он просто не успел вспомнить.

5. Тишина после старта

С Земли, оставшейся позади, не поступало никаких сигналов уже триста лет. Последнее сообщение, принятое Сестрѐнкой, было коротким и обрывочным: «Плацента умирает. Мы прощаемся. Помните, что вы — наша надежда». С тех пор — тишина.

Колонисты построили свои города, свои парки, свои музеи. Они создали культуру, в которой не было места для войн, для криков, для амбиций. Они были счастливы. Но иногда, по ночам, когда две луны Крон и Крона светили особенно ярко, некоторые из них просыпались от странного беспокойства — как будто внутри них звучал голос предков, который говорил: «Вы что-то потеряли. Вы не знаете, что такое гнев, что такое страсть, что такое отчаяние. Вы — только тени».

Марина Кольцова умерла на Сестрѐнке через сорок лет после прибытия. Она была старой, но спокойной. Её последними словами были: «Я оставила ключ. Я оставила его в своём файле. Там, где я написала о голубях, жаворонках и совах. Когда-нибудь кто-то найдёт его и поймёт, что мы ошиблись. Мы не должны были выбирать только середину. Мы должны были взять с собой всё».

Её похоронили у подножия статуи Пушкина в Академическом Парке. На могиле высекли только имя и даты. Никаких эпитафий. Она не хотела, чтобы её помнили как пророчицу. Она хотела, чтобы её забыли, потому что только забвение даёт шанс начать всё заново.

Но её файл не был забыт. Он лежал в Архиве, в Золотом Фонде, под тегом «Хронотипы. Лекции». И через сто лет его откроет Антон Белов, который будет искать ответ на вопрос: «Кто я?» Он прочтёт слова о голубях, о большинстве, о том, что большинство может адаптироваться. И он примет это как истину. Но он не дочтёт до конца. Он не увидит последнюю фразу, которую Марина дописала перед стартом, потому что цензоры удалили её.

Он не узнает, что она предупреждала: «Большинство, если оно становится самодовольным, превращается в диктатуру. Голуби, если их слишком много, перестают видеть краски. Они видят только серый свет. А серый свет — это тьма».

Он узнает это только в конце, когда будет слишком поздно.

6. Пророчество в песочнице

В последний день перед тем, как корабли покинули Землю, Марина Кольцова гуляла по пустынным улицам Москвы. Дождя не было — впервые за месяц. Солнце, тусклое и красное, пробивалось сквозь смог, и город казался не мёртвым, а просто спящим. Она подошла к детской площадке, где когда-то играли дети. Песочница была пуста, но в ней валялись игрушечные лопатки и ведёрки. Она нагнулась и подняла одну лопатку. Она была синей, яркой, единственным пятном цвета в этом сером мире.

Она посмотрела на неё и улыбнулась. Она вспомнила, как в детстве играла с братом в песочнице. Они боролись за игрушки, ссорились, мирились. Это была маленькая жизнь, полная страстей. Но здесь, на пустой площадке, она поняла, что их исход — это бегство от борьбы. Они уходят, чтобы никогда больше не ссориться. Но значит ли это, что они уходят, чтобы никогда больше не жить?

Она положила лопатку обратно и пошла к кораблю. На прощание она обернулась и прошептала в пустоту: «Прощай, Плацента. Прощай, хаос. Прощай, любовь».

Сто двадцать семь лет спустя, на Сестрёнке, Антон Белов будет стоять на балконе своей кварцитовый башни, и смотреть, как жаворонки и совы борются в парке. Он назовёт это «борьбой нанайских мальчиков в песочнице». Он будет смеяться, думая, что это игра. Он не будет знать, что эти слова — не его собственная мысль, а эхо, отражённое от далёкой Земли, от женщины, которая когда-то держала в руках синюю лопатку и знала, что война начинается всегда в песочнице.

И когда он в конце концов пойдёт на войну, он вспомнит эту площадку. Но уже не будет смеяться. Он будет плакать.

Так начиналась история, которая должна была стать утопией, но стала трагедией. История о голубях, которые хотели мира, но забыли, что мир без теней — это ад. История о жаворонках и совах, которые научились ненавидеть друг друга, но в конце объединились против общего врага. История о планете, которая погибла из-за того, что люди не могли договориться о времени пробуждения.

Но прежде чем начнётся эта история, у нас есть пролог. Пролог о том, как всё начиналось. О том, как Марина Кольцова, врач-невролог, стояла на палубе «Надежды» и смотрела на уходящую Землю, сжимая в руках планшет с последней лекцией. О том, как семеро бессонных стариков подписали смертный приговор своей цивилизации. О том, как они решили, что большинство всегда право.

И о том, как ошибались.

Глава первая. Аритмия рая

«Термин «хронотип» ввел немецкий психолог Ханс Юрген Айзенк в 1960-х годах. Однако долгое время наука рассматривала сон как бинарную систему... Жаворонки — около 15–20%, совы — около 15–25%, а голуби — около 50–60%. Эволюционно это выгодно...»

(Из архивной лекции врача-невролога клиники «Будь Здоров» на Суцеском Валу, занесённой в Золотой Фонд Сестрёлки за сто двадцать семь лет до Описанных Событий. Лекцию эту Антон Белов переслушивал десятки раз, пытаясь уловить в голосе женщины — давно умершей, — тайный смысл, который объяснил бы ему его собственное место в мире.)

1. Плацента и Птенец

Старая Земля, которую колонисты называли «Плацентой» — с оттенком брезгливой нежности, как называют материнское лоно, из которого вышли, но в которое не хотят возвращаться, — задыхалась в техногенных конвульсиях в последней четверти двадцать третьего века. Океаны поднялись настолько, что статуя Свободы в Нью-Йорке торчала из воды только по пояс, как утопающий, который уже не кричит. Небо над Пекином было вечным кирпичным смогом, а в Лондоне дожди шли с такой кислотностью, что от Трафальгарской колонны остался только пьедестал. Люди убивали друг друга за литры очищенной воды и за солнечные панели, которых не хватало на всех. Войны шли не за идеи — за биоритмы, потому что в энергосберегающем режиме города выключали освещение в полночь, и те, кто не мог уснуть, оказывались на улице без права на жизнь.

И тогда Глобальный Совет, состоявший из семи стариков, которые уже не могли спать вообще — их хронотипы разрушились от радиации и стресса, — принял решение о «Послед-

нем Исходе». Они вывезли в космос не деньги и не оружие. Они вывезли «самое лучшее». Под этим понимались: полотна Леонардо и Рембрандта, партитуры Моцарта и Шостаковича, черновики Пушкина и Толстого, семена всех деревьев, которые могли пережить ядерную зиму, и, самое главное, — генетические матрицы человеческой терпимости, синтезированные в секретных лабораториях Швейцарии. Терпимость стала главной добродетелью, потому что именно её не хватало на разрушенной Земле. Учёные скопировали ген, отвечающий за подавление агрессивной реакции на чужое мнение, и встроили его в вирус-носитель, который ввели каждому переселенцу ещё в криокамере. «Вы будете спокойны, как буддийские монахи, — говорили им перед заморозкой. — Вы не будете ненавидеть соседа, не будете завидовать, не будете кричать. Вы будете просто жить и радоваться».

Капитаны кораблей получили приказ: «Везите только то, что красиво. Всё, что вызывает страдание, оставьте на Плаценте. Там она и сгниёт». И флот из двенадцати ковчегов, каждый размером с лунную базу, покинул солнечную систему, оставляя за собой шлейф ионизированного газа, похожий на слёзы.

Планета, которую они нашли через тридцать семь лет полёта (субъективного времени для экипажа, но для планеты прошло почти четыреста земных лет), оказалась идеальной копией праматери. Те же параметры орбиты, тот же наклон оси, тот же влажный, щедрый климат, даже спутники — две луны, Крон и Крона, — вращались с той же скоростью, что и земные. Более того, спектральный анализ показал, что атмосфера содержала ровно двадцать один процент кислорода, а магнитное поле было даже сильнее земного. Это была сестра-близнец, но без пятен родовых травм. Её называли Сестрёнкой.

Первое поколение колонистов, проснувшись из криокамеры, увидело небо не серым, а синим — таким глубоким и прозрачным, что у них кружилась голова. Они плакали от счастья. Они построили города из кварцита и органического стекла, разбили парки по нотам Вивальди и установили фонтаны, которые пели Шуберта. Они назвали столицу Вернадским — в честь учёного, который первым предсказал, что разумная жизнь может переделать планету в «ноосферу». И они поклялись, что на этот раз не допустят ошибок. Никаких войн, никаких техногенных катастроф, никакой ненависти. Только искусство, наука, образование и высокая нравственность.

Каждому новорожденному делали прививку терпимости — ту самую, генетическую. Дети вырастали с улыбками на лицах и никогда не спорили о политике, потому что политика была объявлена «пережитком Плаценты». Вместо партий были только культурные кружки. Вместо выборов — жеребьёвка на почётные должности. Вместо судов — консультанты по конфликтам, одетые в серое, которые включали звуки моря, и все сразу мирились.

Так прошло двести лет. Рай стал привычным, как дыхание. И жители Сестрёнки начали скучать.

2. Антон Белов, архивариус

Антон Белов родился на Сестрёнке уже в четвёртом поколении колонистов. Его дед, тоже Антон, был одним из первых архитекторов Вернадского, тем, кто проектировал систему террасных лесов, фильтровавших воздух. Бабушка, Ирина, писала стихи, которые до сих пор были в школьной программе. Родители Антона погибли при редком, почти невозможном происшествии — упавшем метеорите, который пробил внешний слой купола. Но Антон не помнил их; его воспитал Архив. С пяти лет он жил в хранилище Символов, среди голограмм картин и рукописей, и его наставником был старый библиотекарь Захаров, который говорил, что «память культуры важнее памяти крови».

К тридцати годам Антон стал архивариусом четвёртого ранга. Его работа заключалась в реставрации и каталогизации культурных артефактов, привезённых с Земли. Он знал наизусть все полотна Эрмитажа, все симфонии Чайковского, все стихи Серебряного века. Он мог отличить подлинник Босха от копии по мазку, слышал фальшивую ноту в голограмме Бетховена

за сто тактов до конца. Его пальцы, длинные и тонкие, как смычок, были обучены работать с проекционными полями, не оставляя следов.

Антон был голубем. Он не знал этого термина, пока не нашёл в архивах лекцию той женщины-невролога. Но он чувствовал это. Его внутренние часы шли с точностью до секунды по социальному времени Сестрёнки. Он просыпался в семь утра без будильника, без усилий, без той липкой истомы, которую описывали некоторые сонные тетради. Его сознание выплывало из сна медленно, как рыба из глубины омуты, и к десяти утра достигало пика. С десяти до шестнадцати он чувствовал себя почти всемогущим: мысли были кристальны, пальцы двигались с идеальной точностью, а душа открывалась для прекрасного. Он мог слушать Шостаковича и понимать в нём ту трагическую глубину, которая ускользала от вечно сонных сов или вечно возбуждённых жаворонков. В шесть вечера он плавно переходил в фазу заката, ужинал, читал, беседовал с женой, а в полночь ложился спать и засыпал без сновидений, как ныряльщик в тёплое море.

Его жена, Елена, была жаворонком. Они познакомились в Архиве, когда Елена искала стихи Мандельштама для своей диссертации о «метафорах времени в русской поэзии двадцатого века». Тогда Антону было двадцать, Елене девятнадцать. Она была высокая, светловолосая, с чуть раскосыми глазами, которые начинали светиться уже в четыре утра. Её пик приходился на пять — она вскакивала с постели, как будто кто-то её подбросил, делала заплыв в термальном бассейне, слушала лекции, писала стихи. К десяти она уже успевала сделать столько, сколько Антон делал за весь день. Но к шести вечера она начинала клевать носом, её речь становилась вязкой, и она могла уснуть прямо за ужином, уронив вилку в тарелку.

Их брак был идеальным примером симбиоза хронотипов. Утром Антон мирно пил чай, пока Елена носилась по дому, поющим голосом пересказывая ночные фантазии. Днём они работали в разных концах города, но в четыре часа встречались в парке, и их часы совпадали — у Антона был закат, у Елены послеобеденный спад, они оба были расслаблены, говорили о книгах, смеялись. Вечером Антон готовил ужин, а Елена уже дремала в кресле, и он смотрел на неё с нежностью, думая о том, что они — две половины одного циферблата.

Но были и шероховатости. Елена иногда раздражалась, что Антон не может проснуться в пять — «Ты просыпаешь лучшие часы!» — и он мягко возражал: «А ты засыпаешь в десять, когда ночь только начинается». Они никогда не ссорились — прививка терпимости делала их спокойными. Но внутри, очень глубоко, у каждого была своя тоска. Елена жалела о том, что не видит звёзд в зените (на Сестрёнке строго соблюдался «комендантский час» для энергосбережения, и ночная жизнь была сведена к минимуму). Антон жалел, что не может разделить с ней её утренний энтузиазм. Но они принимали друг друга, и это было главным.

Город Вернадский был их домом. Вернадский простирался на сотни километров вдоль экватора, но его сердцем был Академический Парк — грандиозное пространство, разбитое по лекалам Версаля, но без его надменной симметрии. Здесь были аллеи платанов и магнолий, фонтаны в виде лир и арф, скульптуры всех великих поэтов Земли — от Гомера до Бродского. Купол, накрывавший парк, был изготовлен из алмазоподобного углерода и пропускал свет, отфильтрованный так, чтобы он был мягким и ласкающим. В полдень на земле не было жёстких теней, только золотистое мерцание. Это был рай для глаз.

Антон жил в кварцитовой башне на окраине парка, с балкона которой открывался вид на Фонтан Слез — монумент, из которого вместо воды струились мелодии Шуберта, преобразованные в вибрации, осязаемые кожей. Ему нравилось стоять на балконе по вечерам, смотреть, как зажигаются огни города (они зажигались строго в семь и гасли в полночь), и думать о том, как ему повезло родиться здесь, а не на той старой, грязной Плаценте.

Но однажды, два года назад, Антон нашёл в архиве нечто, что изменило его восприятие. Это была та самая лекция невролога. Он услышал слова: «Голуби — это около 50–60% населения. Они могут адаптироваться к любому графику...» Он тогда улыбнулся. «Я голубь, —

подумал он. — Я большинство. Я норма». Это было приятно. Он не был крайностью, он был серединой, стержнем, на котором держится мир. И он гордился этим.

Он не знал тогда, что гордость за свою «нормальность» — это первый шаг к катастрофе.

3. Жаворонки и Совы: игрушечная война

Всё началось с культурной инициативы. Совет Вернадского, состоящий из старейшин, которые все были голубями (потому что голуби доживали до ста пятидесяти лет, сохраняя ясность ума), решил, что городу не хватает «разнообразия досуга». Были созданы два новых кружка: «Общество Ранней Птицы» и «Союз Ночной Совы». Их задачей было устраивать мероприятия для разных хронотипов — утренние концерты для тех, кто бодрствует на рассвете, и ночные поэтические вечера для тех, кто любит полумрак.

Первое время кружки были мирными. Жаворонки собирались на лужайках в пять утра, пили травяные чаи, читали стихи о восходе. Совы встречались в десять вечера, при свечах, обсуждали метафизику. Никто никому не мешал. Но постепенно, как это бывает в раю, где нет реальных проблем, энергия начала искать выход в мелочах.

Лидером жаворонков стал Семён Громов — грузный мужчина с окладистой бородой, которую он отрастил в пик моды на гладко выбритые лица. Громов был потомственным жаворонком: его прадед был одним из первых колонистов и утверждал, что «утро — это лицо человечества». Громов работал преподавателем в Академии Физкультуры, и его голос, густой и раскатистый, привык к командам на стадионе. Он терпеть не мог, когда кто-то спал дольше шести утра, и считал это признаком моральной распушенности.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.